

**Иван Гончаров и Лев Толстой:
человечность в русской классике как философская проблема**

© 2023 г. А.К. Куликов

*Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»,
Москва, 101000, ул. Мясницкая, д. 20.*

E-mail: anton.kuliko@yandex.ru

Поступила 25.06.2022

В статье предложен подход к философской интерпретации наследия И.А. Гончарова и Л.Н. Толстого. Анализ художественного текста предпринимается как размышление в русле философской антропологии: что есть человечность? Трагический опыт XX в. настроил многих мыслителей и писателей против мифов о человечности, в создании которых обвинили и Гончарова с Толстым. Однако уже сама способность человека задаваться вопросом о человечности и искать ее говорит о том, что человек не равен совокупности своих обстоятельств, а его человеческая реальность не исчерпывается эмпирией. Творчество Гончарова и Толстого интерпретируется как мифотворчество, сберегающее человечность. Особое внимание уделяется мифологической фантазии и проблеме реальности мифотворчества. Человечность понимается как сретение обыденности и мифа, проживание эмпирической жизни в причастности к мифологической реальности. Обращение к мифотворчеству русских классиков способствует перспективам философской антропологии, не игнорирующей трагедии века, но и не отказывающейся от размышлений о человечности (надеясь сохранить ее лишь в скорбном молчании). Реальность мифа о человечности творится вопреки реальности бесчеловечной: в этом творчестве и благодаря ему человек обретает самого себя.

Ключевые слова: И.А. Гончаров, Л.Н. Толстой, Обломов, человечность, мифотворчество, мифологическая фантазия, природа, богатырство, сон, реальность.

DOI: 10.21146/0042-8744-2023-7-119-130

Цитирование: Куликов А.К. Иван Гончаров и Лев Толстой: человечность в русской классике как философская проблема // Вопросы философии. 2023. № 7. С. 119–130.

Ivan Goncharov and Leo Tolstoy: Humanity in Russian Classics as a Philosophical Problem

© 2023 Anton K. Kulikov

National Research University “Higher School of Economics”,
20, Myasnitskaya str., Moscow, 101000, Russian Federation.

E-mail: anton.kuliko@yandex.ru

Received 25.06.2022

The article develops an approach to the philosophical interpretation of the works of Ivan Goncharov and Leo Tolstoy. The analysis of a literary text is undertaken as an effort to understand humanity, as a reflection in the context of philosophical anthropology: what is humanity? Is it possible to preserve it? The tragic experience of the 20th century has set many thinkers and writers against the myths about humanity, which Goncharov and Tolstoy were accused of creating, and put almost any discussion about it on the verge of posturing and cynicism. However, the very ability of a person to question the humanity and seek it, the ability to protest against his demythologized reality, suggests that a person is not equal to his circumstances, that his reality is not exhausted by empiricism. With a myth, he expresses and defends his humanity. The works of Goncharov and Tolstoy are interpreted in the article as myth-making, protecting humanity. Special attention is paid to mythological fantasy and the problem of the reality of myth-making, it is proved that the myth is not a fiction, but an autonomous reality. Humanity is understood as the meeting of everyday life and myth in this sense of the word, the living of an empirical life in association with the mythological reality of Goncharov and Tolstoy. Thus, the appeal to the myth-making of Russian classics becomes an aid to such philosophical anthropology and such humanism that would not ignore the tragedies of the century as something already past, but would not refuse to talk about humanity (hoping to preserve it only in mournful silence). The reality of the myth of humanity is created in spite of the inhuman reality: in this creativity and thanks to it, a person finds himself.

Keywords: Ivan Goncharov, Leo Tolstoy, Oblomov, humanity, myth-making, mythological fantasy, nature, bogatyrstvo, dream, reality.

DOI: 10.21146/0042-8744-2023-7-119-130

Citation: Kulikov, Anton K. (2023) “Ivan Goncharov and Leo Tolstoy: Humanity in Russian Classics as a Philosophical Problem”, *Voprosy Filosofii*, Vol. 7 (2023), pp. 119–130.

Введение

Действительность заставляет говорить о человечности и практически не оставляет шанса избежать при этом фальши и позерства. Так уже было: «настоящий XX в.» для философии начался с требования Л. Витгенштейна молчать на философские темы, сформулированного после пережитого им опыта Первой мировой войны. Позитивисты, например, вооружились этим требованием и, подобно тургеневскому Базарову, постарались убедить себя и других, что задачи естествоиспытателя – это дело куда важнее всего, что философия пыталась сказать о человечности, о любви, о смысле жизни и смерти.

Что такое человечность, невозможно определить априори, но можно пытаться постепенно выяснить, развернуть смысл этого понятия. Едва ли, например, к человечности имеет отношение то, что говорят о человеке (вернее, о его организме) современные натуралисты. Доверие, которым они пользуются сегодня, понятно: натурализм требует честно принимать «факты», а не мифы. Но в итоге место человека занимает «эго-машина» из нервов и мышц, которая вот-вот добьется виртуального бессмертия [Метцингер 2017, 117, 225].

В XX в. в молчании о человеческом берегли себя от фальши и многие писатели: от Э. Хемингуэя с его лаконизмом до В.Т. Шаламова, пришедшего к «прозе, пережитой как документ» [Шаламов 2005, 157]. Шаламов даже бросил суровое обвинение тем, кто всю жизнь говорил о человечности, сделав из своей художественной прозы не документ, а гуманистический миф: «Русские писатели гуманисты второй половины XIX века несут на душе великий грех человеческой крови, пролитой под их знаменем в XX веке. Все террористы были толстовцы и вегетарианцы, все фанатики – ученики русских гуманистов» [Там же, 160]. Это относилось к И.А. Гончарову и Л.Н. Толстому в первую очередь.

Не оспаривая права Шаламова на эти слова, заметим, что молчание и «проза как документ», выводящие человечность за пределы честно и искренне выразимого, оставляют вопрос о ее реальности нерешенным. Можно ли тому, что сообщает о человеке документ, поверить больше, чем мифу? Демифологизированная человечность зачастую ужасна. XX в. показал это, раскрыв не только пошлость всего «слишком человеческого», но и такие «человеческие» черты, для которых в XIX в. просто не было еще подходящего названия. Мифом человек защищается от самого себя, тем самым доказывая, что он не равен своей вне мифа данной реальности – своим эмпирическим обстоятельствам.

Что если философии обратиться от молчания и прозы-документа к прозе-мифу – к Гончарову и Толстому, к их художественно выраженной живой, как сказал бы С.Л. Франк, философии человека? Мифы, создававшиеся в XVIII–XIX вв. как гуманистические, но приведшие к уничтожению гуманности, не преодолеть документом. С мифом может тягаться только другой миф. Гончаров и Толстой не уведат человечность в область несказуемого, но, напротив, во всех подробностях высказывают ее, чтобы запечатлеть и сохранить ее в своей прозе, в своем языке, из которого словно вылеплена их особая, мифологическая, действительность.

Почему творчество Гончарова и Толстого следует считать мифотворчеством, что такое человечность в этом творчестве и чем обоснована реальность их мифа – таковы вопросы, обсуждаемые в этой статье. Речь идет о философской интерпретации, а не об историко-филологическом исследовании. Мы надеемся, что интерпретация художественной классики (как активно развиваемая сегодня форма философствования¹) позволит открыть новую перспективу понимания человечности.

1. Человечность в мифотворчестве

Следует ли вообще трактовать творчество Гончарова и Толстого как мифо-творчество? Эта мысль не так странна, как может показаться. Мифологичность этих художников подчеркивалась не раз. Гончаров сам называл «Обломова» если не мифом, то «большой сказкой» [Гончаров 1951, 118]. Сон и явь в мифе часто переворачиваются и меняются местами: «Обломов» – яркий тому пример. Критики быстро уловили сказочно-мифический оттенок его «реализма»: «Г. Гончаров вводит нас в настоящее сонное царство. В самом деле, бодрствуют ли Обломов и Софья Николаевна Беловодова? Нет, они спят сном крепким, непробудным, сном очарованным. Их погрузил в этот сон злой волшебник...» [Михайловский 1958, 184–185]. Эти мысли обстоятельно развил Ю.М. Лоциц, определив творчество Гончарова как «мифологический реализм»: «Сказочно-мифологическая подоплека романного действия в “Обломове” настолько значительна, идеологически весома, что реалистический метод Гончарова [хочется определить] пусть

начерно, условно, в рабочем порядке – как некий *мифологический реализм*» [Лощиц 1986, 179]. Об этом пишут и современные исследователи, см.: [Testa 1994, Kleespies 2012, Кантор 2014, Мельник 2014].

О мифологичности произведений Льва Толстого в том же ключе писал Н.О. Лосский, указывая, например, на единение княжны Марьи с умершим отцом и братом словно бы в одном живом существе, или на слияние целого полка в один организм на смотре или марше, на способность мифологического восприятия действительности капитана Тушина: пушки были для него «не пушки, а трубки, из которых редкими клубами выпускал дым невидимый курильщик» [Лосский 2000, 672].

Мифологический реализм – это стремление придать мифу такую реальность, что перевесила бы «реальность» обыденного мира. Следуя традиции Ф.В.И. Шеллинга [Шеллинг 1989] и опиравшихся на него А.Ф. Лосева [Лосев 2001], К. Хюбнера [Хюбнер 1996] и др., мы трактуем миф не как вымысел: он носит *событийный характер*, он *объективен и абсолютно реален* для охваченного им сознания. Миф не иносказательное описание жизни, не форма ее «примитивного» познания, а сама жизнь в ее конкретности и полноте. Шеллинг утверждает это, указывая, среди прочего, на тяжелые *испытания и жертвоприношения*, на которые человек обрекает себя во имя мифа [Шеллинг 1989, 324]. Жизнь Толстого (как и литературная жизнь Обломова) полна испытаний, отказов, жертв, которых требовало мифотворчество и которые придают мифу его собственную истину и гарантию. *Сила мифотворчества измеряется тем, чем мифотворец готов за него заплатить* – например, деятельной счастливой жизнью в духе Штольца или своим художественным гением.

В философии мифологии заметна традиция сближать мифологию с творчеством таких художников, которые не столько описывали действительный мир, сколько выстраивали мир собственный – реальный в своей ирреальности. Шеллинг писал так о Данте и оценивал величие писателя по его способности творить мифы [Шеллинг 1989, 312]. Хюбнер начал свой анализ «истины мифа» с изучения мифологического творчества Гёльдерлина [Хюбнер 1996, 14] и т.д. Мифотворчество Гончарова и Толстого не метафора: их образы и сюжеты из сознательно вымышленных делаются мифологически реальными.

Мир этих писателей живет лишь по своим законам, отличным от законов эмпирической действительности, но именно в его реальность эти «реалисты» заставляют нас верить: такова реальность мифа, основанного лишь на себе самом и означающего лишь самого себя (с этим связана «тавтологическая» трактовка мифа у Шеллинга). Тавтологизм, самореферентность и самодостаточность сверхчувственного опыта, разворачивающегося в человеческом сознании, но не по волюному вымыслу его, наиболее важные черты мифа и мифологического реализма в литературе.

Так, гончаровская Обломовка, толстовский Наполеон или Кутузов способны вытеснять в читательском сознании их исторические оригиналы, миф Толстого очаровывает и захватывает больше свидетельств историка. И этот простой факт читательского опыта: вера в «нереальный», казалось бы, мир мифа, замкнутый на себе и не соотносящийся с внешней реальностью, есть свидетельство *потребности человека в мифе*, по меньшей мере, бессознательного стремления к нему.

Чтобы понять это, спросим себя, что мы готовы – пусть интуитивно – признать человеческим. Скажем, чисто физическая реальность человека – это еще не человек, а то *человеческое мясо*, что видел князь Андрей. Если же взять сверхфизические идеи человечности: человеческой свободы, достоинства, творчества и т.д. – то и в них нет еще человеческой жизни. Идеи вечны, прекрасны, но они не живут, не страшатся, не радуются и не умирают, в отличие от нас. Получается, что ни в материально-чувственном мире вещей, ни в мире идей человечность найти и понять нельзя. Однако если мы еще способны тосковать по человеческому и искать человеческое, значит, мы в глубине души понимаем, что это такое, значит, человечность – не фикция, а то, что некоторым образом открыто нам еще до этого поиска. Действительно, ее можно открыть и в обыденном опыте, стоит только отдать себе отчет в том, что этот живой, непосредственный опыт не бывает только чувственным, он насквозь мифологичен (см.: [Лосев 2001, 105–106]).

Это передает, конечно, и мифотворчество русских классиков: «Толстой заставляет нас видеть (“очами души”) действительность, какую он создает, видеть его глазами, думать о ней – его мыслями, ценить или проклинать ее по его велению и хотению» [Порус 2020, 64]. Да, именно *очами души*, и это *вовсе не метафора*: духовными, а не одними физическими, очами мы видим человеческую улыбку (а не просто движение губ), видим научную формулу, стихи или объяснение в любви (а не череду каких-то значков): вспомним, как Кити и Левин объясняются одними только первыми буквами нужных им слов. В этом сверхчувственном опыте живых людей – реальность, а не абстрактное долженствование их человечности, и именно такой опыт есть невыдуманная реальность мифа: *чудо любви* – говорят о Кити и Левине исследователи, но *миф и есть чудо*, как говорил Лосев [Лосев 2001, 171]. Так и в Обломове мы можем разглядеть сложный художественный образ и даже былинного персонажа, а не банального лентяя. Обыденность, перерастающая в миф – оазис человечности у Гончарова и Толстого, именно его они оберегают от перипетий «реальной» жизни и истории, от «бурь и бешеных страстей».

Крайне важно поэтому, что Гончаров и Толстой художественно оправдывают «несовершенного человека» (как Ю. Лоциц назвал Обломова) и «без идеализации обретают идеал» (как Ю. Айхенвальд сказал о Толстом: [Айхенвальд 1908, 119]). Совершенство, идеализация уже нечеловечны, ими лишь унижены были бы и обломовцы с их баринном, и Пьер с Наташей, и Николай с Марьей: реальная жизнь и близкий человек, как они есть, дороже далекого, абстрактно мыслимого совершенства. Если, конечно, принять, что реальная человеческая жизнь – *в мифотворчестве, на сретении обыденности и сверхчувственного мифа*, а не вне его, она – у Гончарова и Толстого, а не в простом чувственном опыте. Но почему это нужно принять? Отвечая на этот вопрос, рассмотрим сначала подробнее на примерах из русских классиков, во-первых, как именно мифотворчество открывает человеку его самого (в причастности к мифологически понятой природе и мифическим образам), во-вторых, чем обосновывается сама реальность мифотворчества.

2. Мифологическая фантазия как путь человека к самому себе

Защищая права *фантазии*, Гончаров, в сущности, говорил о том, что мы бы назвали сверхчувственным опытом (продолжающим и обогащающим чувственность) в мифе: это *ключевая черта мифотворчества*, остановимся на ней подробнее. Реализм требует «копии с натуры», говорит писатель, выгоняет фантазию за порог, но тем лишь *обедняет природу*, ведь фантазия выражает в человеке те же творческие силы, что стоят за всем происходящим в природе, фантазия – не отражение природы, а ее органичная часть, в которой присутствует целое: «В угоду реализму пришлось бы слишком ограничивать и даже совсем устранять фантазию, впадать, значит, в сухость, иногда в бесцветность, вместо живых образов писать силуэты, иногда вовсе отказываться от поэзии, и все во имя мнимой правды! Но ведь фантазия, а с нею и поэзия даны природой человеку и входят в его натуру, следовательно, и в жизнь: будет ли правдиво и реально миновать их?» [Гончаров 1952, 107–108].

Отвергая мифологическую фантазию, человек *думает, что приближается к природе, но на деле теряет ее*: она подменяется формулами или «природными ресурсами». А вместе с живой природой теряет и самого себя: например, изгнанные из природы человеческие чувства и мысли теперь замыкаются где-то внутри него самого и делаются при этом чем-то едва уловимым, ни с чем иным не соотносимым, но потому неопределимым и непонятным. Действительно, как мне понять свою мысль, надежду или страх, если они существуют не в природе, а лишь во мне (и, возможно, в других, внешне подобных мне людях, но ведь чужие мысли и чувства недоступны, как принято считать, моему наблюдению)? Тогда их ни понять, ни выразить нельзя, нельзя даже опознать как свои.

У Гончарова и Толстого человек обретает себя в близости к природе именно благодаря природной «силе воображения и любви»: «И все я был один, и все мне казалось,

что таинственно-величавая природа, притягивающий к себе светлый круг месяца... и я, ничтожный червяк, уже оскверненный всеми мелкими, бедными людскими страстями, но со всей необъятной могучей силой воображения и любви, – мне все казалось в эти минуты, что как будто природа, и луна, и я, мы были одно и то же».

Все мечты и помыслы Обломова, как и сам его облик, в котором не раз уж отмечали сходство с «воплощением толстовства» Платоном Каратаевым [Гейро 1987, 536], полны мифологическим чувством природы. Вот, например, Илья Ильич мечтает о том, чтобы «идти тихо, задумчиво, молча или думать вслух, мечтать, считать минуты счастья, как биение пульса, слушать, как сердце бьется и замирает, искать в природе сочувствия», – сочувствие биению сердца нужно искать в природе. И не потому, что взгляд Обломова или Толстого очеловечивает, «оживляет» природу – она для них и не умирала никогда – а потому что само биение сердца можно всерьез понять только как сочувственное биение жизни в реках, аллеях, животных. В них оно делается вполне реальным, весомым, а не чем-то мнимым и слабеньким внутри человека, не находящим выхода и никому не нужным: таково оно *вне мифа* перед лицом «равнодушной природы» в понимании новоевропейской культуры.

В мифотворчестве ни человек не уподобляется природе, ни она – человеку, но оба *становятся самими собой*, становятся достойными себя, их общей красоты и ума. Скажем, настоящее небо – вовсе не то, которое физически видит будничным глаз (не называть же небом двумерную картинку на сетчатке глаза), а то, которое своим умным, сверхчувственным зрением увидел на краю гибели герой Толстого. У такого неба нет иного бытия, кроме как в сознании человека²: только в нем и благодаря ему плоское чувственное небо делается бесконечным небом Аустерлица, а не просто чем-то сине-серым над головой. Но и человек лишь в подобные неповторимые минуты открытия этого неба в своем сознании становится именно Андреем Болконским, а не жадным до славы офицером с его суетной, кричащей жизнью, принижающей его человечность и не стоящей ее: «Как тихо, спокойно и торжественно, совсем не так, как я бежал, – подумал князь Андрей, – не так, как мы бежали, кричали и дрались; совсем не так, как с озлобленными и испуганными лицами тащили друг у друга банник француз и артиллерист, – совсем не так ползут облака по этому высокому бесконечному небу. Как же я не видал прежде этого высокого неба? И как я счастлив, что узнал его наконец. Да! всё пустое, всё обман, кроме этого бесконечного неба. Ничего, ничего нет, кроме его».

Дело не в том, что небо вечно, а наполеоновская слава преходяща: это не открытие. Оно скорее в том, что вечность неба здесь не только не противостоит хрупкому человеку, но, напротив, существует лишь для него (в чисто физическом небе нет ничего вечного, ничего «спокойного и торжественного», да и не знает оно о вечности): его жизнь – конечно, мгновение, но такое мгновение, в котором только и можно, по слову поэта, видеть вечность и небо, как в чашечке цветка. Поэтому его хрупкая жизнь – не суета тех, которые без толку «бежали, кричали и дрались», но причастность к высшей реальности, к высоким, торжественным, как небо, силам, присутствие которых дано открыть только человеку и только в мифотворчестве. Без них и слава его, и любовь, и горе, и даже смерть (как физическое явление) – «всё пустое, всё обман».

3. Человек – живой мифологический образ

Мифологическая фантазия раскрывает человеку глаза на его человечность в частности не только к вечно живой природе, но и к мифопоэтическим образам, словно просвечивающим сквозь физически зримых персонажей Гончарова и Толстого, питающим их жизни смыслом и достоинством. Давно замечены в Илье Ильиче черты лежебоки, умного «дурака» Емели или тридцать лет лежавшего на печи Ильи Муромца [Кантор 2014, 191–192; Мельник 2014, 73; Testa 1994, 55]: именно такие сверхисторические красивые эйдосы умеет разглядеть в злободневно-историческом барине сверхчувственный взор мифотворца, так что только в мифологической фантазии, в родстве неудалому богатирству этот барин и становится настоящим Обломовым.

Близость Обломова богатырю Илье не исчерпывается тем, что он «сиднем сидел». В.К. Кантор подчеркивает: Илья Муромец уезжает из дома, приходит в движение и защищает Отечество, что полагалось и служивому сословию дворян, вроде Обломова, да неспособен на это оказался Илья Ильич, так что Илья Муромец в нем не состоялся [Кантор 2014, 192–194]. Мне думается, сходство этих героев все же более тонкое: Илья редко вступает в бой (например, с Идолищем или Соловьем-разбойником никакой схватки в былинах нет) и всюду, где можно, уходит от активного действия.

Как подчеркнул К.С. Аксаков: «Среди молодых сильных могучих богатырей один только стар: богатырь Илья Муромец, далеко превосходящий силою всех остальных. Песня не придает ему обыкновенного присловья: *удалый*; и точно – в нем нет удалства. Все подвиги его степенны, и все в нем степенно: это тихая, непобедимая сила. Он не кровожаден, не любит убивать и, где можно, уклоняется даже от нанесения удара. Спокойствие нигде его не оставляет; внутренняя тишина духа выражается и во внешнем образе, во всех его речах и движениях» [Аксаков 1856, 42]. Тишина духа, неудалое богатырство делает Обломова Обломовым, а не то, что он так и не встал с дивана. Иначе что вообще интересного в этом образе? – как однажды стгоряча сказал А.П. Чехов, *не признав* (в двойном смысле слова) мифологической фантазии в гончаровском шедевре: «Я спрашиваю себя: если бы Обломов не был лентяем, то чем бы он был? И отвечаю: ничем. А коли так, то и пусть себе дрыхнет» [Чехов 1976, 201].

Другая «обломовская» черта Ильи Муромца – его близость к Матери-Земле, от которой он получает силу (неслучайно Илья всегда говорит о родном *селе* Карачарове, но нигде не упоминает *города* Мурома):

Лежучи у Ильи втрое силы прибыло:
Махнет нахвальщину в белы груди,
Вышибал выше дерева жарувого, –
Пал нахвальщина на сыру землю;
В сыру землю ушел до-пояс.

Это не может не напомнить Антея, с которым так часто сближали и Толстого («антеевское сознание», говорил о нем Т. Манн). Богатырское непротивление Ильи, уход от активной борьбы, как и недеяние Обломова, тоже очевидным образом находят отражение в непротивлении силой Толстого, обладавшего такой силой, что к ней даже не приходилось прибегать. И неудивительна запись Софьи Андреевны: «Сказки и типы, как, например, Илья Муромец, Алеша Попович и многие другие, наводили его на мысль написать роман и взять характеры русских богатырей для этого романа. Особенно ему нравился Илья Муромец» [Толстая 1978, 496].

Но нам важно не непротивление само по себе, а Илья Муромец, оживающий у Гончарова и Толстого вместе с мифологическим и былинным прошлым, не противостоящий Обломову, а радующийся и страдающий вместе с ним, так что и сам Обломов обретает при этом богатырские черты. Лению не исчерпывается его реальность и не раскрывается его человечность, человеческое в Обломове – живой образ миролюбивого богатыря. В некотором смысле – эйдос, ставший плотью, или плоть, живущая эйдосом. Илья Муромец без связи с Обломовым и Толстым, с живым человеком из плоти и крови представляет разве только «исторический интерес». Но и Обломов без Ильи Муромца «пустить себе дрыхнет»: для этого не нужно быть человеком, хватит и «кома теста», как называет его Штольц.

Человек не приукрашивается мифологической фантазией: он только и возникает в ней, в отличие от кома теста, его реальность – мифологична. Обломов не ущербное подобие былинного богатыря, не копия оригинала: мир людей – мир не копий, а жизни, в которой только и могут явиться красота и сила мифологемы. Познать эйдос умом, придумать его можно и вне мифа, но действительно жить им позволяет лишь мифотворчество. Оно дает увидеть, что эта жизнь – не только видимые бытовые и исторические невзгоды, но и невидимое простому глазу столкновение вечных сил: очарованный сон, богатырство, умный «дурак», Мать-Земля. Гончаров и Толстой пытаются

напомнить это забывшему себя в невзгодах человеку, заставить его испытать радость или боль от причастности к этому столкновению.

Толстой стал мифологемой еще при жизни: можно долго цитировать воспоминания о нем, как о «Саваофе», «русском боге» (М. Горький), о его «потусторонности великого Пана» (С. Булгаков) и т.д. Но мифологема и Обломов: в том-то и дело, что видя в нем просто человека из «реалистического» произведения, мы вместе с Чеховым не найдем в нем ничего интересного, вызывающего философские споры. Он тоже *своего рода русский бог – бог лени, сна и покоя*. Если бы у древних был бог лени и тишины, разве могли бы они изобразить его вернее, чем это сделал Гончаров?

Неслучайно он, бездельник, становится центром всего романа: словно неподвижный перводвигатель, оживляющий все остальное, причем так, что все остальное стремится к нему и лишь в этом стремлении живет и волнует читателя⁵. Поэтому главы о мещанском счастье Штольцев выглядят такими вымученными на фоне «обломовских» глав. Мифология знает богов воровства и уловок, вроде Гермеса, почему бы не знать ей бога лени и сна? Мифология в этом плане есть *сатира наоборот*: она не изобличает, а *возвеличивает и мелкую, казалось бы, неприглядную черту человеческого существа, отстаивает его человечность*.

«– Да ты поэт, Илья! – перебил Штольц.

– Да, поэт в жизни, потому что жизнь есть поэзия. Вольно людям искажать ее!»

Эта мысль – одна из важнейших и для Гончарова, и для Толстого. Она идет еще от Пушкина, видевшего комичную нелепость в романтических стремлениях к необычайному и бурному, а в *сложном искусстве жить «как все»* – как Обломов с Пшеницкой или Пьер с Наташей – высокую поэзию. Поэзия как жизнь, а не как авторский вымысел и поэтизация жизни – это, собственно, и есть мифопоэтика (термин Э. Кассирера). Мифопоэтика дома, семьи противостоит у этих классиков историческому времени, выходу из мифа в историю, которая была и остается непредсказуемой чередой войн, склок, взлетов и падений, которые не имеют конца, а потому и понятного смысла. «Ведь бури и бешеные страсти не норма природы и жизни, а только переходный момент, беспорядок и зло, процесс творчества, черная работа – для выделки спокойствия и счастья в лаборатории природы», – пишет Гончаров. Движение всегда было признаком нехватки, покой – совершенства и полноты: вспомним Платона – как и философские мифы великого грека, мифотворчество Гончарова и Толстого призвано сохранить человека от катастрофического движения «реальной» истории.

4. Реальность мифа, или «Как не верить снам?»

Но это невозможно, возразят мне, чего стоят мифологическая фантазия, детский сон Обломова перед лицом истории, в которую все равно предстоит попасть из мифа и сна? Например, Е.А. Краснощекова, В.К. Кантор и С.А. Никольский считают это неубиенной картой против обломовской идиллии, которая-де существует лишь во сне, пока реальная Обломовка приходит в упадок, и которой даже барин Обломов не может долго заслоняться от реальности [Краснощекова 1997, 354; Никольский, Филимонов 2009, 168–169; Кантор 2014, 203–204]. Но поскольку эти исследователи даже не ставят вопроса о том, *что* считать реальностью, и каковы критерии реального, они, видимо, употребляют эти слова в духе здравого смысла, отождествляя реальность с эмпирической данностью. Приемлемо ли такое отождествление? Ведь это «реальность» лишь в понимании узников платоновской пещеры, для которых то, что им даром дано в каждодневном чувственном опыте, исчерпывает всю полноту бытия, а сверхчувственные эйдосы кажутся непонятной и ненужной красотой. Жить-то приходится в далеко не прекрасном мире ощущений и невечных вещей, на что тогда какие-то прекрасные вечные истины? В таком случае в реальности пришлось бы отказать слишком многому: например, математике, Богу, добру и злу, конечно, и европеизму в смысле В.К. Кантора – все это обосновано эмпирически еще меньше, чем идиллия Обломова.

В этой пещерной «реальности», конечно, нет и не может быть ни гончаровского Обломова, ни Ильи Муромца, ни князя Андрея, ни неба Аустерлица, но именно поэтому в ней не может быть и живого человека с его живой душой. Вне мифа, вне связи с его высшей реальностью от человека, загнанного в узкие рамки понимания узника пещеры, остается лишь его натуралистический муляж. Действительно, почему мысли, чувства человека заслуживают какого-то уважения, если в реальности это электрические сигналы в нервных тканях, как открыла нейронаука? Почему любовь или слезы должны вызывать сочувствие, если в демифологизированной эмпирической реальности это лишь выбросы гормонов да соленая жидкость, выделяемая особой железой? В такой «реальности» не будет ни уважения, ни сочувствия: такова цена отказа от мифотворчества. Мы видим вновь: удаляясь от мифа и мифологической фантазии, такой как у Гончарова и Толстого, человек рассчитывает приблизиться к собственной реальности, но в результате получает реальность не человека, а чего-то, вроде кома теста.

Мифотворчество – не розовая идиллия, в нем немало трагизма, страданий, смерти, но в нем человек дорастает до своей человечности, до невыдуманной, не абстрактной, а переживаемой тишины Ильи Муромца, до поэзии природы Обломовки, до неба князя Андрея. Мифотворчество и есть своего рода обломовский детский сон, о котором Толстой писал: «Сновидения сладки, спокойны, даже страх, ужас, горе сновидений имеют сладость и успокоение: я весь во власти чуждой силы, но я живу и предаюсь ей – нет борьбы, искания и раскаяния или угрозы раскаяния, а в своей маленькой жизни я уже чувствую ее. Нет тоже в сновидении... таких образов, которые бы были злы и вместе с тем законны. Во сне нет ужасного, нелюбовного. Если есть ужасное, то оно просто ужасно, но оно не зло» [Толстой 1957, 473–474]. Если так называемая «реальная жизнь» полна пошлости и зла, не только смертна, но и «внезапно смертна», до крайности обманчива и призрачна, как и репрезентирующий ее чувственный опыт, то чем, в конце концов, она реальнее мифологического сна Обломова? Словами Л. Кэрролла: «Если мир подлунный сам // Лишь во сне явился нам, // Люди, как не верить снам?»

Обломов – трагический образ, но трагизм его не в том, что он так и не оторвался от дивана ради «позитивного дела»: это еще не трагедия. Трагизм Обломова, как и многих персонажей Толстого, в том, что «трудно быть богом», по слову Стругацких: человек лишь в редкие мгновения может открыть бесконечное небо или тихую силу Ильи Муромца, но неспособен удержаться на этой высоте. Причастный к мифической вечности, гончаровский герой в то же время не бог, а только смертный человек. Он пробует избежать предначертанного (в «любви» к Ильинской, например), перестать быть Обломовым, что так же невозможно, как для Ахилла – перестать быть Ахиллом и избежать похода на Троию. Он и опошляет свою богатырскую роль, не величественно отстраняясь от грязи и крови, от бессмыслиц и вражды в жизни богов и людей, а часто слишком по-человечески пугаясь, прячась от нее, обманывая ближних и растворяясь в небытии. Мифические герои живут так, как будто они бессмертны, как будто они – боги, не знающие пошлости: это «как будто» и составляет трагическую человечность у Гончарова и Толстого.

Не испугаться этой трагичности, все же открыться – хоть на несколько мгновений, как было с князем Андреем на поле Аустерлица – высшей реальности мифа, зная о том, что долго удержаться в ней невозможно – вот человеческая черта. Невозможно спекулятивно, тем более – научно, доказать, что миф и человек в мифе реальнее данных чувственного опыта, свидетельств историка или естествоиспытателя, но можно показать, каковы плоды принятия реальности мифа и отказа от нее. Мы видели эти плоды: вне мифа придется отыскивать человека в «реальной» природе, истории, обществе, но какова эта реальность – известно. Не поможет и художественное творчество, если понимать под ним лишь условность и авторский вымысел, которым можно упиваться, но нельзя жить. И тогда вновь явятся Гончаров, Толстой и другие мифотворцы: тоска по человеческому приведет к ним.

Обобщая наши наблюдения и выводы, можно подвести *предварительный* итог: мифологическая фантазия отстает достоинство человека, и собственно человеческое в нем заключено не в абстрактных идеях или идеалах человечности и не в эмпирической его «реальности». Человеческое – в завершении этой чувственной «реальности» в высшей реальности мифа, в причастности и сопереживании миру Гончарова, Толстого. Человек – не тень этой реальности, не ущербное подобие мифологических фигур, вроде богов и богатырей – напротив, только в его сознании и только для него миф обретает жизнь. Но и сам человек живет по-человечески благодаря тому, что открывает себя мифу, впускает его в свою жизнь. Трагичность мифотворчества в том, что удержаться в его вечной реальности очень трудно, невечный человек склонен забывать о своей открытой мифом человечности: мифотворчество – трудное, но еще возможное припоминание ее.

Примечания

¹ Сейчас многие отечественные [Никольский 2008, Кантор 2014, Порус 2016, Жукова 2019] и зарубежные **исследователи** [Tirpner 2002, Friedrich 2004] находят философию именно в художественной литературе. На мой взгляд, это связано именно с нехваткой живой человечности в современной философии, с потребностью как-то оживить философскую мысль – например, с помощью литературной классики.

² К. Леонтьев, указывая на неправдоподобность этой сцены – будет ли раненый, контуженый офицер на поле боя рассуждать о вечном, будет ли он вообще в состоянии о чем-то рассуждать? [Леонтьев 1911, 43–44] – был бы совершенно прав, если бы имел дело с «реалистическим» романом, а не с мифологическим эпосом Толстого, задуманным как новая «Илиада».

³ «И в самом деле, окиньте весь роман внимательным взглядом, и вы увидите, как много в нем лиц, преданных Илье Ильичу и даже обожающих его, этого кроткого голубя, по выражению Ольги. И Захар, и Анисья, и Штольц, и Ольга, и вялый Алексеев – все привлечены прелестью этой чистой и цельной натуры», – пишет А.В. Дружинин [Дружинин 1958, 176].

Источники – Primary Sources and Russian Translations

Аксаков 1856 – Аксаков К.С. Богатыри времен великого князя Владимира по русским песням // Русская беседа. 1856. № IV. С. 1–67 (Aksakov, Konstantin S., *Heroes of the Times of Grand Prince Vladimir According to Russian Songs*, in Russian).

Айхенвальд 1913 – Айхенвальд Ю. Гончаров // Силуэты русских писателей. Вып. 2. 2-е изд. М.: Научное слово, 1908–1913. С. 136–151 (Ajhenvald, Yuri, *Goncharov*, in Russian).

Айхенвальд 1908 – Айхенвальд Ю. Лев Толстой // Силуэты русских писателей. Вып. 2. М.: Научное слово, 1908. С. 109–136 (Ajhenvald, Yuri, *Lev Tolstoy*, in Russian).

Гейро 1987 – Гейро Л.С. Роман И.А. Гончарова «Обломов» // Гончаров И.А. Обломов. Л.: Наука, 1987. С. 527–551 (Gejro, Lyudmila, *Goncharov's Novel "Obломov"*, in Russian).

Гончаров 1951 – Гончаров И.А. Письмо к И.И. Лъховскому. Мариенбад, 2/14 августа 1857 // Литературный архив. Т. III. Л.: Изд-во АН СССР, 1951. С. 116–126 (Goncharov, Ivan, *Letter to Lkhovskiy. Marienbad*, in Russian).

Гончаров 1952 – Гончаров И.А. Лучше поздно, чем никогда // Гончаров И.А. Собрание сочинений. В 8 т. Т. 8. Статьи, заметки, письма. М.: Гослитиздат, 1952. С. 64–114 (Goncharov, Ivan A., *Better Late than Never*, in Russian).

Дружинин 1958 – Дружинин А.В. Из статьи: «Обломов», роман И.А. Гончарова // Гончаров И.А. в русской критике: Сборник статей. М.: Гос. изд-во худож. лит., 1958. С. 161–183 (Druzhinin, Alexander, *"Obломov"*, *Goncharov's Novel*, in Russian).

Леонтьев 1911 – Леонтьев К.Н. Анализ, стиль и веяние. О романах гр. Л.Н. Толстого. Критический этюд. М.: тип. В.М. Саблина, 1911 (Leontiev, Konstantin N., *Analysis, Style and Trend. About the Novels of Count L.N. Tolstoy*, in Russian).

Лосев 2001 – Лосев А.Ф. Диалектика мифа. М.: Мысль, 2001 (Losev, Aleksei, *The Dialectics of Myth*, in Russian).

Лосский 2000 – Лосский Н.О. Л.Н. Толстой как художник и как мыслитель // Лев Толстой: pro et contra. СПб.: РХГА, 2000. С. 669–675 (Lossky, Nikolay, *Leo Tolstoy as an Artist and as a Thinker*, in Russian).

Лоциц 1986 – Лоциц Ю. Гончаров. М.: Молодая гвардия, 1986 (Loshchic, Yuri, *Goncharov*, in Russian).

Метцингер 2017 – *Метцингер Т.* Наука о мозге и миф о своем Я. Тоннель эго / Пер. С. Англ. Соловьевой Г. М.: АСТ, 2017 (Metzinger, Thomas, *The Ego Tunnel: The Science of the Mind and The Myth of the Self*, Russian Translation).

Михайловский 1958 – *Михайловский Н.К.* Софья Николаевна Беловодова // Гончаров И.А. в русской критике: Сборник статей. М.: Гос. изд-во худож. лит., 1958. С. 184–195 (Mikhaylovsky, Nikolay, *Sofya N. Belovodova*, in Russian).

Толстая 1978 – *Толстая С.А.* Дневники. В 2 т. Т. 1. М.: Художественная литература, 1978 (Tolstaya, Sophia, *Diaries*, in Russian).

Толстой 1954 – *Толстой Л.Н.* Неделание // *Толстой Л.Н.* Полное собрание сочинений. В 90 т. Т. 29. М.: Художественная литература, 1954. С. 173–201 (Tolstoy, Lev, *Not-doing*, in Russian).

Толстой 1957 – *Толстой Л.Н.* Моя жизнь // *Толстой Л.Н.* Полное собрание сочинений. В 90 т. Т. 23. М.: Художественная литература, 1957. С. 469–474 (Tolstoy, Lev, *My life*, in Russian).

Хюбнер 1996 – *Хюбнер К.* Истина мифа. М.: Республика, 1996 (Hübner, Kurt, *Die Wahrheit des Mythos*, Russian Translation).

Шаламов 2005 – *Шаламов В.Т.* Собрание сочинений. В 6 т. Т. 5: Эссе и заметки; Записные книжки 1954–1979. М.: Терра; Книготек, 2005 (Shalamov, Varlam, *Collected Works: In 6 vols. Vol. 5: Essays and Notes; Notebooks 1954–1979*, in Russian).

Шеллинг 1989 – *Шеллинг Ф.В.Й.* Введение в философию мифологии // *Шеллинг Ф.В.Й.* Сочинения. В 2 т. Т. 2. М.: Мысль, 1989. С. 159–374 (Schelling, Friedrich W.J., *Einführung in die Philosophie der Mythologie*, Russian Translation).

Ссылки – References in Russian

Жукова 2019 – *Жукова О.А.* Опыт о русской культуре. Философия истории, литературы и искусства. М.: Согласие, 2019.

Кантор 2014 – *Кантор В.К.* Русская классика, или Бытие России. 2-е изд., перераб. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив; Университетская книга, 2014.

Краснощекова 1997 – *Краснощекова Е.А.* И.А. Гончаров: Мир творчества. СПб.: Пушкинский фонд, 1997.

Мельник 2014 – *Мельник В.И.* Фольклорный базис художественной модели И.А. Гончарова // Язык. Словесность. Культура. 2014. № 4. С. 67–81.

Никольский 2008 – *Никольский С.А.* Русское мировоззрение. Т. I. Смыслы и ценности российской жизни в философских и литературных произведениях XVIII – середины XIX столетия. М.: Прогресс-Традиция, 2008.

Никольский, Филимонов 2009 – *Никольский С.А., Филимонов В.П.* Русское мировоззрение. Как возможно в России позитивное дело: поиски ответа в отечественной философии и классической литературе 40–60-х годов XIX столетия. М.: Прогресс-Традиция, 2009.

Порус 2016 – *Порус В.Н.* Что значит «понять» художественный текст? // Вопросы философии. 2016. № 7. С. 84–96.

Порус 2020 – *Порус В.Н.* На сретении символа и реальности (еще раз о «Докторе Живаго») // Философские науки. 2020. Т. 63. № 7. С. 60–80.

References

Friedrich, Paul (2004) “Tolstoy, Homer, and Genotypical Influence”, *Comparative Literature*, Vol. 56, No. 4, pp. 283–299.

Kantor, Vladimir K. (2014) *Russian Classics, or Being of Russia*, Centre of Humanitarian Initiatives; University Book, Moscow, Saint Petersburg (in Russian).

Kucherskaia, Maya, Averin, Boris, Zakurenko, Alexandr, Sharov, Vladimir (2013) ‘The Real Goncharov [“Znamia” Roundtable]’, *Russian Studies in Literature*, Vol. 49 (4), pp. 66–91.

Kleespies, Ingrid A. (2012) ‘Russia’s Wild East? Domesticating Siberia in Ivan Goncharov’s “The Frigate Pallada”’, *Slavic and East European Journal*, Vol. 56 (1), pp. 21–37.

Krasnoshchekova, Elena A. (1997) *Ivan A. Goncharov: The World of Creativity*, The Pushkin Fund, St. Petersburg (in Russian).

Melnik, Vladimir I. (2014) “Folklore Basis of Ivan Goncharov’s Artistic Model”, *Language. Literature. Culture*, Vol. 4, pp. 67–81 (in Russian).

Nedzvetsky, Valentin A. (2013) “Ilya Oblomov As Portrayed in the Novel (Bicentenary of the Birth of Ivan Goncharov)”, *Social Sciences*, Vol. 44 (1), pp. 39–49.

Nickolsky, Sergey A. (2008) *The Russian World Outlook. Vol. I. Meanings and Values of Russian Life in the Philosophical and Literary Works of 18th – the Middle of 19th Centuries*, Progress Traditsia, Moscow (in Russian).

Nickolsky, Sergey A., Filimonov, Viktor P (2009) *The Russian World Outlook. How a Positive Business is Possible in Russia: the Searches for an Answer in Russian Philosophy and Classical Literature of the 40–60s of 19th Centuries*, **Progress Tradition**, Moscow (in Russian).

Porus, Vladimir N. (2016) ‘What Does it Mean to “Understand” a Literary Text?’, *Voprosy Filosofii*, Vol. 7 (2016), pp. 84–96 (in Russian).

Porus, Vladimir N. (2020) ‘At the Meeting of the Symbol and Reality (Once Again on “Doctor Zhivago”)’, *Russian Journal of Philosophical Sciences*, Vol. 63, No. 7, pp. 60–80 (in Russian).

Testa, Carlo (1994) “Goncharov’s Oblomov: Fragmentation, Self-Marginalization, Cockroaches”, *Canadian-American Slavic Studies = Revue Canadienne Americaine d’études slaves*, Vol. 28 (4), pp. 399–418.

Tippner, Anja (2002) “Vision and its Discontents: Paradoxes of Perception in M.Yu. Lermontov’s Hero of Our Time”, *Russian Literature*, Vol. 51 (4), pp. 443–469.

Zhukova, Olga A. (2019) *An Essay on Russian Culture: Philosophy of History, Literature and Art*, Soglasie, Moscow (in Russian).

Сведения об авторе

КУЛИКОВ Антон Кириллович –
аспирант школы философии и культурологии
факультета гуманитарных наук
Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики», Москва.

Author’s Information

KULIKOV Anton K. –
PhD student of the School of Philosophy
and Culturology of the Faculty of Humanities
of National Research University
Higher School of Economics, Moscow.